

## Записки с «тонущего корабля»: о дневниках Л.В. Шапориной и М.М. Пришвина

**Д**невники сталинского периода советской эпохи уже по меньшей мере полтора десятилетия привлекают к себе внимание исследователей. Собственно, дневники, как и другие эго-документы, служат для историков материалом для изучения «советской субъективности». Историков по большей части интересует становление «нового человека»; преимущественное внимание уделяется тому, как советские люди учились «говорить по-большевистски», как даже «ущербные» в социальном плане занимались «самовоспитанием», пытались «встроиться» в современную эпоху, овладеть её языком<sup>1</sup>. Именно под этим углом зрения Йохен Хеллбек рассматривает дневники 1930-х годов<sup>2</sup>. Замечу, что работы Хеллбека и Игала Халфина, основанные на эго-документах и посвящённые советской субъективности, вызвали довольно оживлённую полемику и резкую критику. Гораздо меньше внимания уделялось протестным настро-

<sup>1</sup> *Kotkin S.* *Magnetic Mountain: Stalinism as a Civilization.* Berkeley; Los Angeles; London, 1995; *Halpin I., Hellbeck J.* Steven Kotkin's «Magnetic Mountain» and the Soviet Subject // *Jahrbücher für Geschichte Osteuropas.* Vol. 3 (1996). P. 331–342; *Halpin I.* *From Darkness to Light. Class, Consciousness and Salvation in Revolutionary Russia.* Pittsburgh, 2000; *idem.* Looking into the Oppositionists' Souls: Inquisition Communist Style // *Russian Review.* Vol. 60. № 3 (July, 2001). P. 316–339; *idem.* Terror in My Soul. Communist Autobiographies on Trial. Cambridge: MA, 2003; *Hellbeck J.* Fashioning the Stalinist Soul: The Diary of Stepan Podlubnyi (1931–1939) // *Jahrbücher für Geschichte Osteuropas.* 1996. № 3. P. 344–373; *idem.* Speaking Out: Languages of Affirmation and Dissent in Stalinist Russia // *Kritika I/1* (Winter 2000); *idem.* The Last Soviet Dreamer: Encounters with Leonid Potemkin // *Cahiers du monde russe.* 50/1 (January–March 2009). P. 139–152 и др. Интервью Халфина и Хеллбека и критический, временами очень резкий, анализ их работ, так же как проблемы советской субъективности, предпринятый Александром Кустаревым, Дэвидом Хоффманом, Джереми Смитом, Светланой Бойм, Ильёй Герасимовым, Аллой Сальниковой, Дитрихом Байрау и Ясучиро Мацуи см. в журнале *Ab Imperio* (2002. № 3. С. 209–417).

<sup>2</sup> *Hellbeck J.* *Revolution on My Mind: Writing a Diary under Stalin.* Cambridge, Mass.; London, 2006. См. содержательную рецензию Юлии Херцберг на эту книгу в журнале «Отечественная история». 2008. № 1. С. 200–202.

ениям<sup>3</sup>. Не вдаваясь в историографические подробности, отметим одну особенность: исследователей прежде всего привлекали дневники молодых людей, причём рассматривались они преимущественно как источник по формированию «души» человека сталинского времени, нежели, скажем, как источник по истории повседневности 1930-х годов.

Но дневники вели и «старые» русские интеллигенты дореволюционного времени, говорить по-большевистски не научившиеся, сформировавшиеся как личности совсем в другую эпоху и пытавшиеся сопротивляться, приспособливаться и/или выживать в условиях сталинского режима. «Сопротивление» их носило, правда, исключительно «внутренний» характер. Так, беспрецедентны (особенно по меркам сталинского СССР) по объёму, подробности, откровенности дневники Михаила Михайловича Пришвина (1873—1954), знаменитого писателя, проходившего в советскую эпоху скорее по «ведомству» детской литературы, путешественника, охотника, знатока русской природы, и Любови Васильевны Шапориной (1879—1967), создательницы театра марионеток, художницы, переводчицы.

Оба были «бывшими» людьми, однако вовсе не изгоями в советском обществе, более того — принадлежали к его элите, а Пришвин — почти к её верхним слоям. «Почти» — поскольку, когда приходила пора отметить писателей, награждался, скажем, орденом «Знак Почёта», в то время как Самуил Маршак — орденом Ленина. Однако же, как писал Пришвин в укор Беталу Калмыкову, первому секретарю Кабардинско-Балкарского обкома ВКП(б), обещавшему, но не обеспечившему писателю, приехавшему в Кабарду в творческую командировку, жильё и машину: «По моему письму Молотов прислал мне машину через два дня в полное распоряжение, Сталин дал квартиру в Москве и т.д.»<sup>4</sup>. Впрочем, поразмыслив, Пришвин фразу о милостях Молотова и Сталина вычеркнул.

Шапорина (урожденная Яковлева) была женой композитора Юрия Шапорина; брак был крайне неудачным и большую часть супружества — скорее условным, хотя распался далеко не сразу. Впрочем, «статус» Шапориной, её знакомства и «вхожесть» в дома знаменитых деятелей русской/советской культуры определялись прежде всего её личными качествами, нежели положением мужа.

Дневник Пришвина беспрецедентен по объёму и хронологическому охвату: первые записи относятся к 1905 году, последние — к 1954-му. Дневник Пришвина — это работа писателя, он систематичен и «обо

<sup>3</sup> Редкое исключение — книга Сары Дэвис. См.: Davies S. *Popular Opinion in Stalin's Russia: Terror, Propaganda and Dissent 1934—1941*. Cambridge; N.Y., 1997 (рус. пер.: *Мнение народа в сталинской России: Террор, пропаганда и инакомыслие. 1934—1941*. М., 2011).

<sup>4</sup> *Пришвин М.М. Дневники. 1936—1937*. СПб., 2010. С. 158. Запись 4 мая 1936 г.

всём» — об охоте, лесе, собаках, птицах, женщинах, детях, путешествиях, быте, семейных проблемах. Значительную часть текста составляют философские рассуждения, хотя не похоже, что Пришвин был выдающимся мыслителем. Самое, на наш взгляд, интересное и важное для историка в дневнике — записи разговоров людей, с которыми жизнь сводила Пришвина, мнений, впечатлений, настроений окружающих, так же как, разумеется, его собственных размышлений о происходящих событиях. Собеседники Пришвина — по большей части «простые» люди: он долго жил в Загорске, ездил в пригородном поезде, подолгу жил в деревне, постоянно бывал в разъездах, в том числе на собственной машине (в материальном отношении советская власть видных писателей не обижала). Пришвин был «своим», при нём не стеснялись говорить.

Дневник Шапориной не столь систематичен: первые записи датируются 1898 годом, однако вплоть до начала 1930-х годов они фрагментарны. Собственно, только тогда дневник по-настоящему становится дневником, как раз в тот период, когда дневники вести боялись, а многие люди их уничтожали. В результате сложился текст, который его публикатор Валерий Сажин справедливо назвал «не имеющим аналогов среди опубликованных на сегодняшний день дневников советского периода». Это «путеводитель абсолютно по всем аспектам жизни 1920–1960-х гг.: повседневному быту; умонастроениям интеллигенции, рабочего класса, крестьянства; политической истории и истории культуры — театра, музыки, живописи... это дневники человека, которому чужда власть, правящая страной, и который на протяжении дневника (собственно, всей жизни) искренне пишет об этом»<sup>5</sup>.

Биограф Пришвина Алексей Варламов называет его «лояльным гражданином своей страны и искренним (безо всякой фиги в кармане) советским писателем»<sup>6</sup>. Вот уж «совсем не похож» был Михаил Михайлович на советского писателя и, если мы отождествляем страну с господствующим в ней режимом, на лояльного гражданина. По крайней мере в мыслях, поведенных дневнику в 1930-е годы. Впрочем, не так: старался быть лояльным, объяснить, понять и принять. Но плохо получалось. Возможно, умозаключения Варламова объясняются тем, что он опирался на фрагменты, а не на полный текст дневника Пришвина 1930-х — начала 1940-х годов.

Послушаем самого Пришвина: «Сколько раз мне мелькало как счастье взять на себя подвиг телеграфиста, утонувшего на “Лузитании”: он, погибая, до последнего вздоха подавал сигналы о спасении

<sup>5</sup> Сажин В.Н. Институтка: автопортрет в советском интерьере // Шапориная Л.В. Дневник. Т. 1. М., 2011. С. 6.

<sup>6</sup> Варламов А. Пришвин. М., 2008. С. 376.

гибнущих людей. И мне казалось, что в писаниях своих я займу когда-нибудь положение этого телеграфиста. Но где они, те люди, которых я стал бы вызывать на помощь: те, кого я знал, все сошли, и чем они жили, больше не имеет смысла, те же, кто будет впереди»<sup>7</sup>.

«Лояльный гражданин», уподобляющий страну, в которой он живёт, тонущей «Лузитании»... В другом месте он и вовсе пишет, что считает себя «в смертельной оппозиции»<sup>8</sup>.

Впрочем, оппозиционность Пришвина — сугубо «вегетарианская» (дневниковая), он приспособляется к окружающим реалиям по мере сил и возможностей, и внешне, и внутренне: пишет книгу о Канале (именно так, с большой буквы); ездит на Соловки, общается с чекистами; сочиняет рассказ для маленьких детей «Утёнок-стахановец»<sup>9</sup>; ищет исторического оправдания большевизму. Будучи внутренним оппозиционером, он принимает правила игры. Он в самом деле волнуется о том, что наградили его всего лишь орденом «Знак Почёта», в то время как его «смертельного врага» Маршака — орденом Ленина. Уточним: «смертельным врагом» Маршак был для Пришвина, но был ли таковым Пришвин для Маршака, неизвестно.

Оба текста — и Шапориной, и Пришвина, — нечастые свидетельства о 1930-х годах, записанные сразу, в дни террора; свидетельства людей, так и не научившихся говорить по-большевистски, хотя Пришвин временами и старался, отлично сознавая, что это — мимикрия, попытка купить себе не только право на безбедное существование, но и на собственный голос.

Особый интерес представляет отражении и осмыслении в их дневниках «большого террора» 1930-х годов, так же как и предшествующего и последующего «террора малого», который «малым» можно считать разве что в контексте советской истории.

Любовь Шапорина живет в стране, где «обыватели» знают не только то, что часть населения, «самая работающая и хозяйственная», «расстреливается и пускается по миру»<sup>10</sup>, но и как именно расстреливается: «У нас расстреливают в спину, в затылок, чуть ли не в упор. Можно ли придумать более подлую казнь, более подлый народ? Меня начинает искренне возмущать, когда во всех бедах обвиняют правительство, большевиков. Народ подлый, а не правительство, и, пожалуй, никакое другое правительство не сумело бы согнуть в такой ба-

<sup>7</sup> Пришвин М.М. Дневники. 1938—1939. СПб., 2010. С. 415. Запись 6 сентября 1939 г.

<sup>8</sup> Там же. С. 443. Запись от 11 октября 1939 г.

<sup>9</sup> Вышел в 1938 г. под более пристойным названием «Изобретатель. Рассказ о диком утёнке».

<sup>10</sup> Шапорина Л.В. Дневник. Т. 1. С. 86. Запись 24 января 1930 г.



раний рог все звериные инстинкты. Я помню этот звериный оскал у мужика при делёжке покосов»<sup>11</sup>.

Противоречие очевидное и не единственное в дневнике: автор винит власть в расправе с мужиками, запись о расстрелах самой работающей части населения относится к пику «сплошной коллективизации», и тут же славит правительство, сумевшее справиться с их звериными инстинктами. И — добавим уже от себя — поставить звериные инстинкты части населения себе на службу. «Жуткое ощущение щупальцев спрута, от которых не уйти. И мы маленькие, маленькие мыши», — записывает Шапорина 23 октября 1930 года. И, через десять дней: «Уже с месяц, как я никого не вижу и нигде не бываю. И должна сказать, что никуда не тянет. Сейчас люди не верят своей собственной тени, — а вдруг она служит в ГПУ?»<sup>12</sup>.

Это не 1937-й, а 1930-й год.

Дневник Шапориной за 1930-е годы — это хроника террора. Насилие принимает разные формы, применяется по разным поводам и к разным людям. В 1933 году «язва египетская — “парилки”». Знакомого врача держат в «парилке» (в камере, в которую, по рассказам, нагнетают горячий воздух, а заключённых кормят селёдкой, не давая им воды), чтобы тот сдал золото. Врач где-то проболтался, что у него есть золотые портсигары и другие ценные вещи. В итоге после восьми дней заключения у него всё забрали и выпустили с распухшими ногами. Сидели и ещё несколько знакомых Шапориной. Тогда же происходят высылки в связи с паспортизацией: паспорта давали далеко не всем, и люди были вынуждены уезжать из Ленинграда в течение десяти дней, уезжать неизвестно куда: «Рдссия сейчас похожа на муравейник, разрытый проходящим хулиганом. Люди суетятся, с смертельным ужасом на лицах, их вышвыривают, они бегут, куда глаза глядят или бросаются под поезд, в прорубь, вешаются, отравляются».

Шапорина пытается как-то объяснить происходящее, и вдруг начинает «говорить по-большевистски». «Что всё это: просто непроходимая глупость или контрреволюционное вредительство, иноземное озорство?», — спрашивает она. Когда-то, в дни революции, ей представлялось, что она чувствует ветер истории: «Тогда мы неслись в бездну. Те́перь мне представляется, что мы уже на дне, и смрад кругом, все свалились друг на друга, кто жив, кто мёртв — не разберёшь, все копошатся, надеясь куда-то вылезти, не догадываясь, что вылезти некуда, неба не видно. И вот ползают, отталкивают, сбрасывают слабых, кусают, царапаются, стонут. Ужас, вырывают корки хлеба. А над всем

там же. С. 102. Запись 11 октября 1930 г.

там же. С. 103. Записи 23 октября и 2 ноября 1930 г.

этим благополучная верхушка, подкуп писателей и всех, кто может делать рекламу»<sup>13</sup>.

Пришвин принадлежал к той самой «благополучной верхушке», которую упоминает Шапорина, и кормился от власти; это не делало его наблюдения и оценки менее точными и жёсткими; он многое видел, хотя не всё понимал.

Чрезвычайно интересно отношение авторов дневников к «московским процессам» 1936–1938 гг. Если обычно жертвы террора, о которых встречаются записи в дневниках, «свои», если и не знакомые лично, то не принадлежащие, во всяком случае, к власти, то здесь дело совсем другое. Во-первых, подсудимые — большевики, ещё вчера принадлежавшие к властной элите, во-вторых, значительная часть из них — евреи. Пришвин счёл процесс Зиновьева, Каменева и других (он называет процесс «троцкистско-зиновьевским»), «в сущности, еврейским процессом»<sup>14</sup>. Это наводит его на следующие размышления: «Революция подвела к двурушничеству как бы всюду. Но особенно яркие типы в этом отношении, конечно, евреи... Но единственное средство борьбы с “жидом” — это пассивное сопротивление, выжидание и доказательство беды фактами (напр., порча языка). Народность должна выжить, победить и всё расставить на своё место»<sup>15</sup>.

Поясним, что «порчей языка» Пришвин считал, к примеру, стихи С.Я. Маршака. Дневник Пришвина пронизан антисемитскими мотивами, как на историософском, так и — в меньшей степени — на бытовом уровне. Не вдаваясь в подробное обсуждение этой темы и поиски корней интеллигентского антисемитизма в стране интернационалистов, отметим то, что лежит на поверхности: во-первых, признание евреев некоей единой, возможно, международной силой, действующей солидарно и в интересах своего народа, во-вторых, неприятие того, что евреи стали играть несвойственные, «не положенные» им роли. Пришвин вполне признаёт «полезность» равенства евреев в правах. Однако не право еврея быть русским писателем, а то и «законодателем мод» в литературе. Читателем — пожалуйста: «В Союзе писателей канцелярист еврей, маленький, самого плюгавого вида оказался моим усердным читателем и умно и трогательно, как читатель, высказал ряд мыслей, близких к моим. А сколько раз так было! и как редко встречал я такое понимание в русских. Так выходит, что как граж-

<sup>13</sup> Там же. С. 129–131. Записи 21 февраля и 5 марта 1933 г.

<sup>14</sup> Пришвин М.М. Дневники. 1936–1937. С. 301. Запись 30 августа 1936 г. Два дня позднее он записывает: «По газетам в Польше героев еврейского процесса считают мучениками, а Зиновьева сравнивают со св. Петром» (Там же. С. 302. Запись 1 сентября 1936 г.).

<sup>15</sup> Там же. С. 301. Запись 30 августа 1936 г.

данин я их ненавижу, а как писатель жить в России без них не могу. Тут идёт отравка как бы с двух сторон: отравка национализмом и отравка гражданства моего путём признания со стороны евреев моего творчества. Куда ни кинься, в Москве современной везде находишь еврея»<sup>16</sup>.

Размышления и эмоции Шапориной аналогичны пришвинским. 7 декабря 1933 года она записывает: «Прочла полкниги Тынянова “Смерть Вазир-Мухтара” и страдаю физически от отвращения и злобы. Сметь поднять руку на Грибоедова, на Пушкина. А почему нет? (С акцентом.) Мы взрываем Симонов монастырь, “Утоли моя печали”, “Николу Большой крест” и т.д. — вы молчите, мы многое делаем ещё другое — вы терпите, ну так теперь выкупаем в помоях ваше последнее, вашу первую любовь, вы всё стерпите, так вам и надо»<sup>17</sup>.

Возможно, что наряду с прочим «архаисты» Пришвин и Шапориная реагируют подобным образом и на современную литературу, усматривая в ней и «порчу языка» и — почему-то — выполнение установок власти. Шапориная, в целом вполне понимавшая постановочный характер процессов, так же как и то, что признания подсудимых объясняются какими-то специальными мерами воздействия на них («Фейхтвангер заинтересовался, почему такая откровенность, — наивник! А гипноз на что?»), в то же время верит в заговор, причём еврейский. Она вспоминает по случаю второго «московского процесса» («Пятакова—Радека») «бумажонку», которую ей показывал сосед по имени в 1917-м году, несомненно, «Протоколы сионских мудрецов», и записывает: «Всё в ней было понятно, непонятно только было в этом плане, как можно социализировать землю, раздробить, а потом вновь восстановить частную собственность, для перехода её в новые, уже сионские руки. И вдруг оказывается, что у господина Троцкого уже всё предусмотрено, готово, аппарат налажен. Потрясающе»<sup>18</sup>.

Подозрения относительно «сионского заговора» не мешают ей, как это нередко бывает с «идейными» антисемитами, дружить с отдельными евреями. Близким другом Шапориной был заведующий ленинградским отделением «Известий» литератор Александр Осипович Старчаков. После его ареста, приговора к «10 годам без права переписки» и последовавшего затем ареста и отправки в лагерь его жены Шапориная берёт на воспитание двух несовершеннолетних дочерей Старчаковых. Поступок по тем временам просто отчаянный: и с политической и, возможно, ещё в большей степени с бытовой точки зрения.

<sup>16</sup> Пришвин М.М. Дневники. 1940—1941. М., 2012. С. 576. Запись 10 сентября 1941 г.

<sup>17</sup> Шапориная Л.В. Дневник. Т. 1. С. 150. Запись 7 декабря 1933 г.

<sup>18</sup> Там же. Запись 30 января 1937 г.

Пришвин рассматривает процессы как эпизоды борьбы внутри большевистской элиты и, похоже, верит в заговоры против власти: «Те же, кого сегодня будут судить (Радек и др.), скрытые претенденты на трон: их не жалко, им “поделом”: их казнят, но если бы им удалось, то они бы ещё больше казнили»<sup>19</sup>. Писатель как будто на стороне власти и переживает относительно её устойчивости: «Каждый раз после смертных процессов чувствуешь в себе ослабление уверенности в прочности власти. Напротив, вспоминаешь манифесты: это власть в глазах общества укрепляло. Но, может быть, эти наши обывательские чувства ничего не значат, — и это возможно»<sup>20</sup>.

Объясняется пришвинское сопереживание победителям опасениями, что ослабление власти может привести к порабощению страны внешними силами: «Процесс почти без всякого моего внимания к нему действует очень глубоко какою-то своей скрытой силой. Главное, что вернулась после стольких лет идея пораженчества. Процесс ставит перед нами альтернативу: или пораженчество, или Сталин. И когда остаёшься со Сталиным, то видишь, как всё непрочно у нас в партии и как быстро надо ему закреплять за собой народ и, главное, крестьянство. Процесс открывает глаза... Из всего этого, между прочим, видно, что наше положение более трудно, чем казалось. Казалось, напр., что мы могли бы в военном деле нанести удар, а какой же это был бы удар при троцкистах! Казалось, что ГПУ гораздо сильнее. Казалось»<sup>21</sup>.

Весьма любопытны записи Пришвина о пораженчестве, под которым, несомненно, понимается готовность «принять» иноземную власть. Она явно воспринималась некоторыми (по-видимому — многими) жителями счастливой страны СССР как избавительница от большевистского режима. Ближайшим кандидатом являлась Германия, очевидно, и потому, что была постоянно «на слуху» после прихода нацистов к власти, и как противник в недавней войне. Да к тому же часто упоминалась на процессе: «И есть ещё у каждого русского мысль, к которой он “приходит”, это: немцы... Н сказал: — Немца я не боюсь, никакого агрессора, завоевателя: на моё место никто не станет, потому что никто не может делать того, что делаю я, и никому моё место не нужно»<sup>22</sup>.

Пораженческие настроения в Москве и её окрестностях наблюдались задолго до начала войны с Германией, во всяком случае, они зафиксированы в дневнике Пришвина за четыре с половиной года до

<sup>19</sup> Пришвин М.М. Дневники. 1936—1937. С. 453. Запись 23 января 1937 г.

<sup>20</sup> Там же. С. 454. Запись 25 января 1937 г.

<sup>21</sup> Там же. С. 454—455. Записи 26, 27 и 28 января 1937 г.

<sup>22</sup> Там же. С. 610. Запись 5 июня 1937 г.

неё. Постоянной темой его дневника является двурушничество, двойничество: «Двойной человек у нас — внутренний про себя думает, а наружный говорит то, что ему велят. Возникает вопрос о том, кто же из них есть настоящий человек. Сейчас приходит в голову, что “внешний”-то и есть настоящий, а другой как “внутренний враг”. Как будто вообще с коммунизмом, вернее, в его нынешней практике, внутренняя жизнь человека есть нечто враждебное, подлежащее ликвидации... внешний человек — каким надо быть, и внутренний — каким каждому в отдельности хочется, должны каким-то образом развиваться. Внутренний содержит в себе разгром. Внешний — ложь»<sup>23</sup>.

Соединение «внешнего» и «внутреннего» не произошло и после начала войны. Пришвин записывает после «примирительной» («братья и сёстры») речи Сталина 3 июля 1941 года: «Речь Сталина вызвала большой подъём патриотизма, но сказать, действительный ли это патриотизм или тончайшая подделка его, по совести не могу, хочу, но не могу. Причина этому — утрата общественной искренности в советское время, вследствие чего полный разлад личного и общественного сознания. Бывало, скажут: “копни человека...”, но теперь его ничем не прокопнёшь: загадочный двойной человек»<sup>24</sup>.

Эта речь, о которой едва ли не с умилением вспоминают многие современники событий, в особенности сформировавшиеся в советскую эпоху, не вызвала у Шапориной ничего, кроме раздражения, если не злости: «После объявления диктора, что будет говорить Председатель и т.д. и т.д., раздался дрожащий голос: “Братья и сёстры”, затем бульканье наливаемой воды в стакан и лязг зубов о стекло. “Друзья мои”, — и опять стук зубов о стекло. Мужичьё сиволапое. Робкий грузин!»<sup>25</sup>.

Вернемся, однако, в 1937 год. Записи Пришвина воспроизводят «атмосферу террора»: «Приумолкли дикторы счастья и радости, с утра до ночи дикторы народного гнева вещают по радио: псы, гадюки, подлецы, и даже из Украины было: подлюка Троцкий. У нас на фабрике<sup>26</sup> постановили, чтобы не расстреливать, а четвертовать, и т.п. Достоевский продолжает оставаться единственным описавшим бесов»<sup>27</sup>.

Достоевский вновь приходит Пришвину на ум по случаю обвинительной речи Вышинского на процессе «как выражения народного гнева (скептики говорят: “организованный самосуд”). Слова Достоевского: “И всё растечётся в грязь”»<sup>28</sup>. Достоевский приходит на ум

<sup>23</sup> Там же. С. 465. Запись 11 февраля 1937 г.

<sup>24</sup> Пришвин М.М. Дневники. 1940—1941. С. 503. Запись 3 июля 1941 г.

<sup>25</sup> Шапориная Л.В. Дневник. Т. 1. С. 256. Запись 16 сентября 1941 г.

<sup>26</sup> Речь идёт о трикотажной фабрике в Загорске.

<sup>27</sup> Пришвин М.М. Дневники. 1936—1937. С. 455. Запись 28 января 1937 г.

<sup>28</sup> Там же. Запись 29 января 1937 г.

и Шапориной: «Великий, великий Достоевский! Мы сейчас видим наяву всё великое стадо нечистых, вселившихся в свиней, видим так, как никогда ещё в мировой истории никто не видал»<sup>29</sup>.

Наконец процесс, сопровождавшийся шумной пропагандистской кампанией, завершился. К разочарованию наэлектризованных «простецов», вроде рабочей трикотажной фабрики, недавно приехавшей в город из Смоленской глубинки Тони и некой Пани, «приговор самый неожиданный: ничего не было! а Паня с Тоней так втравились, что ждут, когда “псам и гадам” будут отнимать члены, рубить пальцы и т.п. Некто вечно дурачимый — кто это?»<sup>30</sup>.

«Ничего не было» означает в данном случае, что к расстрелу приговорили «всего лишь» 13 подсудимых из 17<sup>31</sup>, а наиболее заметная фигура на процессе — активно сотрудничавший с его «постановщиками» К.Б. Радек, был приговорен к 10 годам тюремного заключения, как и другой видный советский деятель — Г.Я. Сокольников. Через два года их убьют в тюрьме, а двое других, В.В. Арнольд и М.С. Стрелов, «отделавшиеся» 10 и 8 годами тюремного заключения соответственно, будут расстреляны в сентябре 1941 года в числе других заключённых Орловского центра.

Интересно, что Пришвин (по-видимому, его запись отражает и разговоры, ходившие в его окружении) связывал надежды на демократизацию советского общества как с грядущими выборами по новой конституции, так и с уничтожением лидеров «троцкистов»: «Теперь, если не будет войны, благодаря выборам по новой конституции могут быть выбраны и порядочные люди (не одни “бесы”, т.е. исключительно политики), стахановцы помогут. После расправы с троцкистами нужен резкий переход к свободам и церкви. (Так говорят)»<sup>32</sup>.

Особенно пикантна, конечно, надежда на стахановцев. В связи с процессом, в ходе которого говорилось о связях подсудимых с нацистской Германией, и публикацией в советской печати статей Лиона Фейхтвангера, этого вольного или невольного «сталинского соловья», писашего, в числе прочего, и об особенностях германского фашизма, Пришвин записывает собственные мысли о фашизме. Точнее, о сходстве фашизма и коммунизма, нацистов и большевиков. К этой теме он и впоследствии будет неоднократно обращаться в дневнике: «И фашизм, и коммунизм... Фейхтвангер пишет о фашизме, а мы всё это видим в коммунизме. Общее в том и другом нечто, с точки

<sup>29</sup> Шапорина Л. Дневник. Т. 1. С. 220. Запись от 11 марта 1938 г.

<sup>30</sup> Пришвин М.М. Дневники. 1936—1937. С. 455. Запись 30 января 1937 г.

<sup>31</sup> В отличие от первого «московского процесса», когда были расстреляны все 16 подсудимых.

<sup>32</sup> Пришвин М.М. Дневники. 1936—1937. С. 455. Запись 28 января 1937 г.



зрения талантливого еврея, оглуляющее: немцы — пишет он — поглупели. Но ведь и мы поглупели невероятно, и всё от тех же причин, которые у фашистов носят название “чистой расы”, у нас “класса рабочих”. Там и тут как главный фактор вводится варвар. Так на одной стороне варвар, на другой космополитический интеллигент, быть может, с евреем во главе. Но это очень приблизительно и, может быть, неверно. Надо выяснить, почему оба фактора, и чистая раса и рабочий класс, производят одинаково оглуляющее действие и направлены против интеллигента. Почему до сих пор возле талантливого и честного специалиста стоит и мешает ему глупый и необразованный коммунист. По-видимому, тут борьба совершается государственно-родового начала с личным: и оттого оглушение на одной стороне и накопление вооружённых сил на другой»<sup>33</sup>.

Тем временем террор усиливается, на очереди теперь военные: «Вчера вечером узнали о конце Гамарника. Осень революции: осыпаются листики»<sup>34</sup>. Через десять дней последовала лапидарная запись по случаю известия о скоротечном процессе по «делу Тухачевского»: «Новости: казнь маршалов»<sup>35</sup>. Пришвин фиксирует общее состояние неуверенности: «Если Гамарник и Тухачевский, то в чём гарантия, что не Чкалов и Громов? Я хочу сказать, что даже перелёт Москва—Сан-Франциско не гарантирует: можно перелететь и изменить»<sup>36</sup>.

9 июня 1937 г. — дневник позволяет «протоколировать» наблюдения и впечатления — Пришвин встретил на дороге человека с «жёлто-зелёным лицом». Путник шёл тихо, покачиваясь: «— Откуда? — Из Архангельска. Семь лет работал, всех похоронил, а изба цела. И за 7 лет не заработал обратной дороги»<sup>37</sup>.

Совершенно понятно, кто это и откуда — раскулаченный в 1930-м году возвращался домой из ссылки. Под свежим впечатлением этой — а, вероятно, и не единственной — встречи, Пришвин написал обращение к Молотову: «Глубокоуважаемый т. Молотов, решаю обратиться Ваше внимание на одно некрасивое явление в нашей стране. Вот как только наступило летнее тепло, на шоссе северной дороге появились люди с жёлто-зелёными лицами, идущие как черепахи. Спросите, откуда они идут, — “из Архангельска”. Иногда это уже дети кулаков, а сами кулаки кончились на лесозаготовках. Идут они месяца по два. Неужели же они лет за пять работы своей на северных реках по лесосплаву не заработали себе билет на обратный проезд, хотя бы в то-

<sup>33</sup> Там же. С. 456. Запись 30 января 1937 г.

<sup>34</sup> Там же. С. 607. Запись 3 июня 1937 г.

<sup>35</sup> Там же. С. 627. Запись 12 июня 1937 г.

<sup>36</sup> Там же. С. 698. Запись 30 июля 1937 г.

<sup>37</sup> Там же. С. 622. Запись 9 июня 1937 г.

варном вагоне? Не говоря о человеческом <зачёркнуто: возмущении> чувстве сострадания, которое возбуждают эти воистину несчастные тени прошлого, такое пешее хождение, ночёвка в деревнях в течение месяцев, мне думается, политически нам сейчас крайне нежелательны. Ведь даже если они научились на севере вовсе молчать, то не молчит их вид, до последней степени тягостный и никак не отвечающий той картине жизни счастливой страны, которую все мы стремимся создать»<sup>38</sup>.

К сожалению, неизвестно, было ли отправлено это письмо адресату. Комментаторы дневника не установили это немаловажное обстоятельство. Рискнём, однако, предположить, что письмо не было отослано. Уж очень оно было не ко времени, и Пришвин, демонстрировавший в этот период осторожность, вряд ли этого не понимал. Молотов со товарищи хорошо знали о «некрасивом явлении». Вот только решать проблему они собирались иначе, чем, по-видимому, рассчитывал Пришвин. До издания 30 июля 1937 года приказа наркома внутренних дел СССР № 00447 «Об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов» оставалось немногим более полутора месяцев. Путников с «жёлто-зелёными лицами» было решено просто уничтожить или отправить туда же, откуда они возвращались. Только на сей раз не в ссылку, а в лагерь.

Как вести себя в условиях террора? Как не попасть (используем избитое сравнение) в его жернова? Ответ как будто прост: минимизировать общение, разговоры со знакомыми и особенно незнакомыми, встречи с потенциальными жертвами. Вскоре после окончания первого «московского процесса» Пришвин записывает: «Мне надо непременно и не откладывая бросить всякую болтовню в Москве, держаться строго, недоступно-независимо, появляться, говорить до крайности скупо. Решение: как решено было бросить курить и бросилось. Так точно о деле охраны своего “места и минуты” с этого дня думать ежедневно и записывать, считая все ошибки и случаи забывчивости. Ни с кем свободно, кроме немногих своих»<sup>39</sup>.

В мае 1937 года Пришвин предпринимает попытку стать «своим»: объясняется со сталинскими порученцами по части литературы, руководителями Союза советских писателей В.П. Ставским и А.А. Фадеевым. Пришвин вполне сознаёт, с какого рода публикой он имеет дело: «Говорят, что Фадеев был исполнителем и собственной рукой расстрелял множество людей. Между тем улыбочка у него очень симпатичная, и вообще как будто человек здоровый, нормальный, — никак не подумаешь»<sup>40</sup>.

<sup>38</sup> Там же. С. 622–623. Запись 10 июня 1937 г.

<sup>39</sup> Там же. С. 301. Запись 30 августа 1936 г.

<sup>40</sup> Там же. С. 594. Запись 27 мая 1937 г.

В данном случае неважно, расстреливал ли кого-нибудь партизанский комиссар и участник подавления Кронштадтского восстания Фадеев лично, или же его палаческая деятельность ограничивалась «подготовкой» передачи некоторых собратьев по литературному цеху в руки сотрудников НКВД. Важно, что Пришвин его считает палачом, однако же не гнушается присягать на верность. Пришвин заявил Ставскому, генеральному секретарю Союза советских писателей, в прошлом сотруднику особого отдела ВЧК: «Последние события заставили меня пересмотреть отношения свои к либералам, подобным Воронскому<sup>41</sup>, и убедиться, что это всё претенденты на трон, что только теперь стала понятна пропасть между художником, сидящим на своём троне, и употребляющим то же слово “Свобода” претендентом на государственный трон. — Я все это пересмотрел, — сказал я, — и понял, что надо держаться мне государственной линии, в данном случае сталинской. — Вот именно, сталинской, — подчеркнул Ставский, как будто хотел этим сказать: государственной — это ещё ничего не значит, а вот именно сталинской. Сказать сталинской, и не надо говорить государственной, а скажешь государственной надо прибавить сталинской. Надо говорить короче и яснее»<sup>42</sup>.

На следующий день Пришвин делает длинную запись, в которой перемежаются самоосуждение и самооправдание: «Дома подумал о том, что сказал, и так всё представилось: на одной стороне высылают и расстреливают, на другой “государственной”, или “сталинской”, всё благополучно. И значит, вместо “сталинской” линии я мог бы просто сказать, что держаться надо той стороны, где всё благополучно. В таком состоянии, вероятно, и Пётр от Христа отрекался. Скорей всего так. Но я думаю, что это не всё: по Розанову, напр., та сторона, где вешали, была и более выгодной стороной»<sup>43</sup>.

Пришвин проводит параллель с царским временем, сопоставляя сторонников власти и оппозицию: «В царское время... общество черносотенцев было действительно подлое, воистину “черносотенцы”. С другой стороны были все порядочные люди, начиная от внешнего (кадеты), кончая нравственным миром (эсеры). То же самое, наверно, и теперь. Сравнить только общество <зачеркнуто: Иванова-Разумни-

<sup>41</sup> Воронский Александр Константинович (1884—1937), большевик, литературный критик; в 1921—1927 гг. главный редактор ведущего советского «толстого» журнала «Красная новь». Организатор и лидер группы «Перевал» (1923—1932), в которую входил Пришвин. Сторонник Л.Д. Троцкого. В 1927 г. исключён из ВКП(б), в 1927—1930 гг. в ссылке. С 1930 редактор отдела классической литературы Гослитиздата. В 1935 г. арестован, 13 августа 1937 г. расстрелян.

<sup>42</sup> Пришвин М.М. Дневники. 1936—1937. С. 594. Запись 27 мая 1937 г.

<sup>43</sup> Там же. С. 596. Запись 28 мая 1937 г.

ка», Воронского, <зачеркнуто: Лундберга<sup>44</sup>> и др. «троцкистов» с обществом Ставских, Панфёровых, Фадеевых...».

Однако не всё так просто: подчёркивая нравственное превосходство противников царской власти, Пришвин их одновременно осуждает и в то же время стремится показать принципиальную разницу между противниками власти до революции и после неё. Показать, почему убийца великого князя Сергея Александровича эсер Иван Каляев, как будто и не стремившийся скрыться с места покушения, мог сравнивать свою предстоящую казнь с жертвоприношением Христа, а противники и жертвы Сталина — нет: «В этом глубокая правда, что многие держались в оппозиции к царю из-за “порядочности”. В глубине этой “порядочности” находится то самое полотенце, которым вытирал свои руки Пилат, отдавая Христа. “Чистые руки” — вот источник упрямой порядочности кадетов... В то время существовало некое единство этическое всех факторов революции, не мудрствуя лукаво, рядовой гражданин чувствовал “правду”. В настоящее время этого этического единства факторов, действующих против Сталина, кажется, нет: их множество, гораздо больше, чем при царе, но этического единства, допуская каляевские страдания относить к Христовым, нет. Теперь пока всё это неудавшиеся претенденты на трон, и в свете этом все они жалки. Да, конечно, мы, обыватели, теперь-то уж можем различить Христовы и эти страдания. Нынешние революционеры потому не могут создать этического единства, что сами власти попробовали (“троцкисты”) и какой-нибудь этикой или даже просто “лучшим” никого не обманут. Птица сломает крыло, упадёт навсегда, и чувствуешь к ней сожаление, а троцкист упадёт, и нет: он власти попробовал. Есть, однако, ни в чём не повинные “кулаки”, “инженеры” и всякого рода страдальцы-неполитики. Их страдание праведное, там у них, конечно, есть этический центр, просвечивающий конечной победой. И эта победа будет, когда чувство единства в народе пробудится, станет общим достоянием. Мне кажется, мы для этого все должны покориться, смириться, перенести, пережить “Сталина”: переживём, и он отойдёт без революции с нашей стороны»<sup>45</sup>.

Характерно поведение Пришвина по отношению к Разумнику Васильевичу Иванову-Разумнику (1878—1946), литературному критику, некогда его «открывшему», а теперь пребывавшему в постоянной немилости у советской власти. В тот же день, когда Пришвин записывает о своём решении вести себя крайне осторожно, он, однако же, пишет о намерении вести борьбу за Иванова-Разумника, как за «чест-

<sup>44</sup> Лундберг Евгений Германович (1883—1965), прозаик, литературный критик; член группы «Скифы».

<sup>45</sup> Пришвин М.М. Дневники. 1936—1937. С. 597—598. Запись 28 мая 1937 г.

ного человека»<sup>46</sup>. Иванов-Разумник был арестован в 1933 году по обвинению в создании «идейного центра народничества», с 1933 года отбывал ссылку в Саратове. Пришвин ежемесячно посылал Разумнику 200 рублей, что позволяло тому не заботиться о заработке и заниматься литературными трудами. Видимо, намерение Пришвина вести борьбу за Иванова-Разумника объяснялось тем, что срок ссылки его друга заканчивался.

С сентября 1936 года Иванов-Разумник, отбывший ссылку, поселился в Кашире под Москвой. Он бывал у Пришвина, более того: Пришвин взял на хранение (закопал в саду) рукопись записок Иванова-Разумника о его аресте, допросах, тюремном заключении и ссылке.

На следующий день после разговора со Ставским в мае 1937 года Пришвин «пришёл к полной убеждённости в “ничего общего” с Разумником» и просил своего сына Лёву «прямо сказать ему, что ночёвка его в Москве на нашей квартире не должна быть. Расстаюсь без сожаления, без упрёков совести: они всё такие же разрушители, какими были, ничему не научились, и им не за что стоять»<sup>47</sup>. Окончательный разрыв, тем не менее, произошёл позднее.

Год спустя после записи о намерении вести борьбу за Разумника Пришвин «короткими строчками» отклоняет приезд к нему недавнего ссыльного<sup>48</sup>. Разница между 1936 и 1937 годами была разительной. Мотивы Пришвина понятны и, как показало совсем недалекое будущее, обоснованы: уже в сентябре Иванов-Разумник был арестован вновь. Забегая вперёд, скажем, что Разумник уцелел и, что было нечастым случаем, обвинений не признал и был освобождён в июне 1939 года «за прекращением дела». Нас интересует в данном случае прежде всего поведение Пришвина и в особенности его рефлексия по поводу разрыва с Разумником. Пришвину как будто надо было убедить самого себя, что прекращение отношений вызвано не только вполне понятными опасениями. Он сравнивает своё поведение с поведением А.М. Горького в отношении его самого: «Отказ Горького от свидания со мной и отказ мой от свидания с Разумником Вас. = то же самое. Следовательно, у Горького имелись относительно меня очень определённые сведения. Кроме того, и главное, он был сам убеждён в принципах советской власти, и моё критическое отношение к ней ему было неприятно»<sup>49</sup>.

Пришвину нелегко даётся прекращение отношений. Он «расстраивается», поскольку Разумник «ищет свидания», и «объясняется» сам с со-

<sup>46</sup> Там же. С. 301. Запись 30 августа 1936 г.

<sup>47</sup> Там же. С. 595. Запись 28 мая 1937 г.

<sup>48</sup> Там же. С. 707. Запись 9 августа 1937 г.

<sup>49</sup> Там же. С. 715. Запись 17 августа 1937 г.

бой: «Ничего не было, но просто время пришло, я рассмотрел, разлюбил, охладел к такого рода людям». Единственный вопрос, который его волнует: уклониться от объяснения или всё же объяснить с Разумником<sup>50</sup>?

Пришвин набрасывает письмо другу (переходящему в категорию бывших): «Дорогой Разумник Васильевич! <Зачёркнуто: по некоторым обстоятельствам <зачёркнуто (мудрено о них говорить)> Я на некоторое время не могу встречаться с Вами и с некоторыми другими лицами, находящимися в Вашем положении. <Зачёркнуто: Не сердитесь и не думайте в худую сторону, но подошла полоса <зачёркнуто: подобная как была у нас с Вами в начале революции>: на некоторое время мы не должны встречаться. Я Вам сообщу, когда «полоса» пройдёт.> Не сердитесь, всех находящихся в Вашем положении я тоже предупредил. Вашу рукопись я укрывал не потому, что боялся уж очень её, а не нравится она мне, случится что-нибудь — и мне стоять в ней не за что. А когда не за что стоять — я величайший трус и в себе этого труса не стыжусь»<sup>51</sup>.

Письмо осталось неотправленным. В конце концов Пришвин всё-таки написал — что мы узнаём из воспоминаний Иванова-Разумника — и попросил своего опасного друга забрать спрятанную у Пришвина рукопись. Кроме того, Пришвин дал понять объекту своей благотворительности, что им не следует «некоторое время» общаться — ни устно, ни письменно<sup>52</sup>.

Иванов-Разумник для Пришвина — пушкинский Евгений из «Медного всадника». В 1937 г. Пришвин определённо на стороне «всадника», на стороне государства. Точнее, он как будто хочет убедить себя в этом и объяснить смысл происходящих событий себе и другим. Он разясняет смысл «политической современности» некому Петру Карловичу: «Это выметают последние остатки тех людей, которые разрушали империю и теперь ждут за это награды. История безжалостная»<sup>53</sup>.

Пришвин и понимает свою чужеродность советской действительности, свою несовместимость с ней, и стремится к ней приспособиться: «В нашем Союзе написать хороший роман так же трудно, как обворовать госбанк. И если напишешь — тебя заберут, и если украдёшь — некуда деть... Живу в советском государстве как на капусте подсолнух: земля подходящая, можно расти, но»<sup>54</sup>. Пришвин записывает о ком-то (не о себе ли?): «Ему страшно было искренно среди людей высказать своё мнение: “а вдруг, — думал он, — моё мнение как

<sup>50</sup> Там же. С. 720. Запись 19 августа 1937 г.

<sup>51</sup> Там же. С. 721–722. Запись 21 августа 1937 г.

<sup>52</sup> *Иванов-Разумник Р.В.* Писательские судьбы. Тюремь и ссылки. М., 2000. С. 94–95.

<sup>53</sup> *Пришвин М.М.* Дневники. 1936–1937. С. 710. Запись 11 августа 1937 г.

<sup>54</sup> Там же. С. 709. Запись 10 августа 1937 г.



раз и совпадёт с тем, что думали расстрелянные враги народа”. И она маялся не потому, что таил в себе какую-то вредную мысль, а что боялся неведомого»<sup>55</sup>.

Пришвин боялся вполне конкретного обстоятельства: после одной из своих поездок на север, на одну из строек социализма, он написал очерк о руководителе комбината «Апатит» в Хибиногорске В.И. Кондрикове. В 1937 г. Кондриков был арестован по обвинению в троцкизме (впоследствии расстрелян). Это ввергло Пришвина в настоящую панику, и он написал письмо Сталину, в котором подчёркивал, что беседовал с Кондриковым лишь несколько часов в присутствии сопровождавшего писателя представителя ОГПУ: «В настоящее время Кондриков оказался врагом народа, и вследствие этого постановления я признан халтурщиком и подхалимским писателем, подлежащим проверке в своих связях с врагом народа». Пришвин писал вождю о своей ценности, ссылаясь при этом на отзывы Горького и «всемирно известного учёного Гексли». Письмо Пришвин намеревался сопроводить английским изданием своей книги «Север», вышедшей с аннотацией Гексли. Видимо, впадший со страху в наивность писатель думал тем самым подчеркнуть свою международную известность. Пришвин обращался к Сталину с просьбой восстановить его «опороченное имя», чтобы он мог «опять ездить по северу, не рискуя получить от первого встречного кличку подхалима и врага народа»<sup>56</sup>.

Неясно, было ли отправлено письмо, черновик которого набросан в дневнике, или дело обошлось объяснениями со сталинскими назначениями по части литературы. Впрочем, соответствие «линии» могли теперь удостоверить лишь в одной организации, и это был не Союз писателей: «Встретился один толстый из НКВД с орденами, и глаза у него такие, будто он когда-то кого-то допрашивал с недоверием, презрением и после того не вернулся к себе: с такими глазами и остался. Я спросил его, то или нет я взял направление. — Правильно, — ответил он»<sup>57</sup>.

При каких обстоятельствах Пришвину встретился «толстый из НКВД», в дневнике не говорится. Ясно, что встреча произошла не на улице и вряд ли случайно. В одной из записей августа 1937 г., особенно насыщенного размышлениями о смысле происходящего, Пришвин рассуждает о том, что в лице Ленина «последний русский интелли-

<sup>55</sup> Там же. С. 720. Запись 19 августа 1937 г.

<sup>56</sup> Там же. С. 615-616. Запись 8 июня 1937 г. Пришвин относится к той категории советских граждан, аресты которых не вызвали бы удивления у окружающих: «В Загорске все говорят *опять* (курсив мой. — О.Б.), что меня “взяли”. Кого возьмут — не горюйте: чем больше печали, тем легче смерть», — записывает Пришвин 1 мая 1938 г. (Пришвин М.М. Дневники. 1938—1939. С. 84.)

<sup>57</sup> Пришвин М.М. Дневники. 1936—1937. С. 728. Запись 27 августа 1937 г.

гент» отрунул нигилизм и решил взять власть: «И Сталин вслед за тем сказал о необходимости в жизни счастья (раньше интеллигент не имел права быть счастливым)»<sup>58</sup>.

И Пришвин старается быть счастливым: «Проснулся в Москве в той именно обстановке, в какой должен жить порядочный человек: это именно то “все так живут”, о чём с такой болью тайно мечтал я и явно отстранял, маскируясь охотником и “паном”»<sup>59</sup>. Интеллигент наконец-то почти слился с народом: «В парке Культуры и Отдыха видел много людей простых, неплохо одетых и относительно довольных: это всё новая страна... без “уклончика”»<sup>60</sup>.

О «счастливых обывателях» писала и Шапорина: «Просыпаюсь утром и машинально думаю: “Слава Богу, ночью не арестовали, днём не арестовывают, а что следующей ночью будет — неизвестно”. Всякий, как Lafontaine’овский ягнёнок, имеет все данные быть схваченным и высланным в неизвестном направлении»<sup>61</sup>.

«Всякий», как мы знаем теперь, не было преувеличением. Для Шапориной это были люди её круга, друзья, знакомые. 6 марта 1938 года она записывает: «Вчера утром арестовали Вету Дмитриеву. Пришли в 7 утра, их заперли в комнату, производили обыск. Позвонили в НКВД: “Братъ здесь нечего”. Вета, прощаясь с Танечкой (4 года), сказала: “Когда вернусь, ты уже будешь большая”»<sup>62</sup>.

34-летняя Елизавета Долуханова (в замужестве — Дмитриева), знаменитая красавица, хозяйка «литературного салона» в 1920-е годы, приятельница Тынянова, Шкловского и прочих формалистов, подруга Лидии Гинзбург, не вернулась. В июне того же года она была расстреляна на Левашовской пустоши под Ленинградом (по другим сведениям — погибла под пытками во внутренней тюрьме). Через две недели Шапорина звонит своей приятельнице поэтессе Елене Тагер и слышит в ответ, что у неё высокая температура. Шапорину это не насторожило: она знала, что у Тагер ангина. К концу дня Шапорина отправилась к Тагер и узнала от её дочери, что болезнь гораздо серьёзнее — «маму взяли в НКВД». Вернулась она в Ленинград через 18 лет, после 10 лет лагерей, повторного ареста и новой ссылки.

Шанс быть арестованным, высланным или расстрелянным имел на самом деле «всякий». Им мог стать 77-летний Нечай — «царско-сельский старый лакей, поляк, у которого в Польше души живой не осталось» или театралный бутафор, «глупенький Лёва»: «С таким

<sup>58</sup> Там же. С. 724. Запись 23 августа 1937 г.

<sup>59</sup> Там же. С. 727. Запись 26 августа 1937 г.

<sup>60</sup> Там же. С. 728. Запись 26 августа 1937 г.

<sup>61</sup> Шапорина Л.В. Дневник. Т. 1. С. 218. Запись 22 ноября 1937 г.

<sup>62</sup> Там же. С. 220. Запись 6 марта 1937 г.

же успехом можно арестовать стул или диван». Лёву выслали без следствия, когда жена принесла ему передачу, ей сказали: Чита. «Уж никаких статей теперь не говорят, чего стесняться в своём испоганенном отечестве»: «Морлоки хватают своих жертв, жертвы исчезают, очень многие бесследно»<sup>63</sup>.

Пришвин ощущает то же самое, однако пытается найти происходящему какое-то высшее (не уточняя, какое) объяснение: «Чкалов погиб, и ему отдаются все почести, как герою. Но люди прекрасные частенько погибают сейчас у нас на глазах без всяких почестей, просто, как будто на твоих глазах люди проходят куда-то совсем “без права переписки” с оставшимися. Есть что-то великое, библейски беспощадное в этой непрерывной смене людей: уходят без благодарности, проходят, не оглядываясь на предшественников. Мало-помалу должна же прошибить всех мысль о том, что не в нас тут дело...»<sup>64</sup>.

Шапорина думает не о великом и «библейски беспощадном», а о страданиях людей, исчезающих «без права переписки»: «У меня тошнота подступает к горлу, когда слышу спокойные рассказы: тот расстрелян, другой расстрелян, расстрелян — это слово висит в воздухе, резонирует в воздухе. Люди произносят эти слова совершенно спокойно, как сказали бы: “Пошёл в театр”. Я думаю, что реальное значение слова не доходит до нашего сознания, мы слышим только звук. Мы внутренне не видим этих умирающих под пулями людей»<sup>65</sup>. Пять месяцев спустя под впечатлением от очередного показательного процесса и происходивших каждую ночь арестов, в том числе её коллег и знакомых, она отмечает: «Но жить среди этого непереносимо. Словоно ходишь около бойни и воздух насыщен запахом крови и падали»<sup>66</sup>.

Пришвин, повторим ещё раз, пытавшийся приспособиться и найти что-то вроде исторического оправдания террора, тем не менее, на пике славы «железного наркома» Ежова, две недели спустя после пышных празднований 20-летия ВЧК—ГПУ—НКВД записывает: «Губы Ежова сложились с губами злого неудачника учителя моего в реальном училище Силецкого и ещё одного рабочкома из Алексина, ненавидевшего не меня, а в лице моём весь какой-то “класс”. И их таких всех, и Печорина тоже, свойство, что их злоба не персональная, а вытекает как бы из мировой скорби: мир или класс — это всё равно... Этот тип, по словам Пети (сына Пришвина. — *О.Б.*), очень сейчас распространён среди молодёжи. И особенность их сравнитель-

<sup>63</sup> Там же. С. 220—221. Записи 6 и 11 марта 1938 г.

<sup>64</sup> *Пришвин М.М.* Дневники. 1938—1939. С. 237. Запись 17 декабря 1938 г.

<sup>65</sup> *Шапорина Л.В.* Дневник. Т. 1. С. 214. Запись 10 октября 1937 г.

<sup>66</sup> Там же. С. 221. Запись 11 марта 1938 г.

но с прежними индивидуалистами (демонами), что они могли свою злость удовлетворять. Ежов — это всё тот же “демон”, закончившийся в палаче. (Кто знает, сколько скуки в искусстве палача.) Нет, тут наконец-то человек мировой скорби получил себе нескучное занятие... Этим кончаются благие намерения спасти род человеческий (наверно, нечто подобное было и во времена Робеспьера)»<sup>67</sup>.

Шапорина существует в «зоне риска». Дворянка, из «бывших», долго жила за границей, брат-эмигрант, дружила или прилаживалась к множеству арестованных. Она имеет гораздо больше шансов, чем «всякий» быть «схваченным и высланным». Но 22 ноября 1937 года, в разгар террора, Шапорина пишет: «Хорошо мне, я отношусь к этому совершенно спокойно и равнодушно. Но ведь большинство же в невыразимом страхе»<sup>68</sup>. Шапорина — нет. Она не пытается зайти, не прекращает общения с родственниками арестованных. Более того, как говорилось выше, после ареста Евгении Павловны, жены А.О. Старчакова, последовавшего через год после ареста её мужа, забирает их детей — 7-летнюю Галину и 9-летнюю Марианну (Мару) из распределителя НКВД<sup>69</sup> и берёт на содержание и воспитание до возвращения матери. На самом деле — на более длительный срок, ибо после возвращения из лагеря Е.П. Старчакова не имела возможности забрать дочерей. При этом Шапорина ведёт «расстрельный» дневник и нисколько не стесняется в оценках советской власти, вождей партии большевиков и товарища Сталина лично.

В дневнике Пришвина также более чем достаточно «материала для следователя», попытки найти какой-то исторический смысл в вакханалии террора перемежаются записями, вроде: «Жестокость (“без права переписки”) власти безмерная, невозможная — это тёмное пятно в нашем Союзе: для народа — всё, для личности — смерть»<sup>70</sup>. Или: «<Зачеркнуто: Рабство> Хомут крепостного права и <зачеркнуто: рабство> хомут колхозного права, — какая разница?»<sup>71</sup>.

Пришвин понимает краугольную роль Сталина в складывающейся системе и как будто отдаёт ему должное как «строителю» российской государственности: «Надо помнить, что Ставский, Панферов и кто бы там ни был не являются постоянными величинами, прочными представителями государственности, партии и т.д. Нет никого: ни Молотова, ни Ворошилова, и только один треугольник: Народ, Сталин и “я”. <Зачеркнуто: (Царь, Бог и народ — как было раньше)>»<sup>72</sup>.

<sup>67</sup> Пришвин М.М. Дневники. 1936—1937. С. 828. Запись 23 декабря 1937 г.

<sup>68</sup> Шапорина Л.В. Дневник. Т. 1. С. 218. Запись 22 ноября 1937 г.

<sup>69</sup> Там же. С. 216—218. Запись 2 ноября 1937 г.

<sup>70</sup> Пришвин М.М. Дневники. 1938—1939. С. 188. Запись 13 октября 1938 г.

<sup>71</sup> Там же. С. 408. Запись 31 августа 1939 г.

<sup>72</sup> Пришвин М.М. Дневники. 1936—1937. С. 725. Запись 23 августа 1937 г.

Шапорина никаких иллюзий в отношении Сталина не строит, ничего кроме ненависти и презрения он у неё не вызывает. Осенью 1941 года, когда стало понятно, что предвоенные заявления о мощи Красной армии и разгроме потенциального противника «малой кровью, могучим ударом», не более чем пропагандистская болтовня, в ставшем уже блокадным Ленинграде, она пишет: «Что думают и как себя чувствуют наши неучи, обогнавшие Америку. На всех фотографиях Сталина невероятное самодовольство. Каково-то сейчас бедному дураку, поверившему, что он и взаправду великий, всемогущий, всеумудрейший, божественный Август»<sup>73</sup>.

Любовь Шапорина подмечает одну чрезвычайно важную вещь: молодые люди, выросшие в советское время, не знавшие никакой другой реальности, кроме советской, воспринимают эту реальность как норму: «Вася (сын Шапориной. — О.Б.) часто возмущается, что я не хожу в кино, в театр. По ним, по современной молодёжи, впечатления скользят, не доходя до сознания. С детства они привыкли к ужасу современной обстановки. Слова “арестован”, “расстрелян” не производят ни малейшего впечатления. А каково нам, выросшим в Человеческой, а не звериной обстановке; впрочем, зачем я клевету на бедных зверей»<sup>74</sup>.

Возможно, одна из самых впечатляющих записей в дневнике Шапориной относится к реплике Мары Старчаковой, которую советская власть фактически сделала сиротой: «Мара как-то сказала, читая “Буратино”: “Как это Папа Карло не знает, где счастливая страна? Я думала, что все знают, что это СССР!”»<sup>75</sup>. Что это было: неспособность 10-летнего ребёнка понять, кто виноват в том, что она лишилась родителей? Или «всё ещё длящийся испуг»? Как бы то ни было,росло поколение, уверенное в том, что счастливая страна — это СССР, и благодарное товарищу Сталину за счастливое детство.

Записки людей, «выросших в человеческой обстановке», о нечеловеческом времени, на удивление, сохранились и дошли до тех, кто «будет впереди». То есть, до нас. Дело профессиональных историков — использовать этот первоклассный источник по истории сталинизма. Дело общества — понять смысл посланий этих случайно уцелевших пассажиров затонувшего корабля.

<sup>73</sup> Шапорина Л.В. Дневник. Т. 1. С. 274. Запись 14 октября 1941 г.

<sup>74</sup> Там же. С. 223. Запись 18 апреля 1938 г.

<sup>75</sup> Там же. С. 220. Запись 6 марта 1938 г.